

Павел Владимирович Засодимский

Темные силы



Павел Засодимский

Темные силы

«Public Domain»

1870

Засодимский П. В.

Темные силы / П. В. Засодимский — «Public Domain», 1870

«...Под одною же кровлей с Настей страдало другое живое существо, страдало так же искренно и от души, как и Настя. Хозяйская работница давно и страстно была влюблена в Федора Гришина, но не могла добиться взаимности и изнывала от своих напрасных желаний. Женитьба Федора окончательно подрезывала крылышки ее игривым мечтам и болезненно отдавалась в ее пылком сердце...»

Содержание

I	5
II	12
III	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Павел Владимирович Засодимский

Темные силы

Посвящается Николаю Васильевичу Шелгунову¹

I

Злая пародия на нечто доброе

В большом губернском городе, Болотинске, жил еще недавно у церкви Егорья столяр Никита Петров, по прозвищу «Долгий». Уже двадцать лет Никита нанимал две сырые, грязные каморки у егорьевского священника. Дом священника стоял в одном из тех переулочков, которые не мостятся, освещаются только сиянием небесных светил и в которых косматые дворянжки служат по ночам единственными блюстителями общественной безопасности.

Происходил Никита из мещанского сословия и занимался столярным ремеслом. Унаследовав от отца своего столярное заведение, он кое-как кормился им, пополам с грехом прокармливал и свою семью – жену с детьми.

Никите стукнуло уже за пятьдесят, и он выглядел высоким, сгорбленным, вечно понурым стариком, с лицом худощавым и бледным, освещавшимся впалыми серыми глазами. Его задумчивые глаза подозрительно и холодно смотрели на мир, и сияло ли солнце над миром, тучи ли заслоняли небо и нагоняли темноту, – глаза его не загорались, не тускли, но по-прежнему недоверчиво всматривались в окружающее, как в стан враждебных ему сил. Вечером, бывало, когда он, по обыкновению, сгорбившись и нахмутив густые брови, стоял над станком с инструментом в руке, а пламя сальной свечи колеблющимся, неровным светом обдавало Никиту и его убогое жилье, – тогда можно было подумать, что не тихо, не довольно, не мирно протекла жизнь столяра: недаром на грубом лице, изборожденном морщинами, мелькали проблески неясных, неоконченных дум, нерешенных вопросов, следы затаенной борьбы и раздражения. И думалось: не была ли вся его жизнь рядом темных вопросов без ответов?.. Редкие ключья седых волос падали на лоб, впалые щеки от жалкого освещения казались бледнее полотна, с тонких, крепко сжатых губ готово было сорваться злое, бранное слово, слово досады или вздох... Войдя в грязную, душную мастерскую Никиты, читатель тотчас же почувствовал бы, что он находится в присутствии одного из тех угрюмых людей, живущих впроголодь и впроголодь, для которых жизнь на белом свете представляется не веселее вечной каторги... И действительно, радостей не было в жизни Никиты, не было ничего из того, что красит жизнь и заставляет ее любить; он отбывал жизнь просто как тяжелую работу.

Всего на все только один светлый денек помнит Никита – один денек из прожитых им пятидесяти лет, да и то помнит неясно и смутно, потому что тот день далеко, так далеко, что его словно переживал не Никита, а кто-то другой, так далеко, что столяру иногда кажется, будто бы он во сне видел такой приятный день...

Раз о пасхе отец водил его – тогда еще малого ребенка – на колокольню; отец звонил, Никита тоже дергал какую-то веревочку. Колокольный звон разносился в весеннем воздухе весело и радостно, весело и радостно билось Никитино сердце... Звон глушил Никитку, но Никитке было очень хорошо. Вдали, на горизонте, тянулись леса; ясное, прозрачное небо кротко синело над городом, над полями и лесами; яркое апрельское солнце лило на землю потоки света и тепла, – и Никитка, стоя на колокольне, живо ощущал всю прелесть весеннего тепла и солнечного блеска. Он любовался на нежную зелень молодых березок, осенявших старую, полуразвалившуюся кирпичную ограду егорьевской церкви; полною грудью вдыхал он в себя здоровый, свежий воздух... А колокола гудели и гудели; грачи, летая вокруг коло-

колья, около покинутых гнезд, громко кричали и все-таки не могли перекричать колокольного звона; голуби тихо, смирнехонько ворковали, приютившись на уступе истрескавшейся церковной стены, поросшей зеленоватым мохом. Никитке было так весело, что он готов был похристосоваться с каждым сизоголовым грачом, с каждым голубем, с каждой живою тварью... В ту пору был он очень добр и ласков...

Хотя теперь, когда столяру перевалило за полвека, он и не может с уверенностью сказать: действительно ли это был только один день или несколько дней слилось для него в один, но все-таки веселый колокольный звон на светлой неделе постоянно и до сих пор наводит на Никиту тихую грусть, пробуждая в нем воспоминание о какой-то сказочной действительности, подобной сну. Только один такой праздничный день выпал на долю Никиты, а затем тянулся ряд неприятных воспоминаний без конца и без начала. Трудно дышалось Никитке в родной семье, не весело жилось ему на свете...

Из бесчисленных забытых и полузабытых воспоминаний выдавалось особенно ярко одно темное воспоминание – об украденном в соседнем саду яблоке... Никитка только что было успел сорвать одно яблоко-зеленец, не успел даже и откусить его, как вдруг откуда ни возьмись огромная черная собака. Она бросилась на Никитку, сшибла его с ног и принялась его душить и мять в своих лапищах... В ту минуту из-за деревьев показался барин. Увидав, что его верный пес разорвал мальчугану рубашонку и оцарапал плечо, барин, убоявшись дурных последствий, оттащил собаку от Никитки... Никитка очнулся уже за забором в кустах репейника, между крапивой, – и в самом жалком виде. Как он очутился в крапиве, – Никитка не помнит... Зато не позабыть ему эту черную злую собаку, едва было не задушившую его за зеленое яблоко. Боялся и не любил он после того таких больших собак. Приключение в барском саду крепко въелось ему в память...

Дома его еще отец выпорол, внушительно приговаривая: «Балуи, да не попадайся! Не попадайся!» Никитка громким голосом уверял отца, что он «больше не будет», и действительно после того «не попадался».

Никита еще мальчишкой сдержал свое слово, данное отцу под розгами: стал осторожнее... Барские яблони опустошались; ломался хрупкий малинник и колючий крыжовник, рвались и топтались в барских цветниках великолепные георгины, белые и алые махровые розы, но Никитка оставался цел и невредим.

Так же ясно Никитка помнил всегда грозно поднятый над собой тяжелый отцовский кулак, помнил постоянную ругань вокруг себя и драку. Дома он грызся с отцом и братьями, на улице – с чужими; сначала он только отгрызался, а потом уже, войдя во вкус кусанья, сам стал нападать на ближних.

Ссоры с отцом происходили у Никитки более из-за пятой заповеди. Отец, согласно заповеди, требовал от сына безусловной покорности своей воле, а сын, по легкомыслию, не ставил ни в грош отеческих требований, которые просто казались ему «ехидством». Пошлет его, бывало, отец в кабак за водкой, а Никитка, позабыв все заповеди на свете, задувает себе с парнишками в бабки и лихо разбивает ряды костыжек битком, налитым оловом: не до отца ему, не до водки. Загуляет он до позднего вечера и воротится домой для получения колотушек уже тогда, когда есть захочется невтерпех. На побои же отец был очень щедр, полагая, что чем более ребят бьешь, тем они будут лучше, из чего ребята, естественным образом, вывели заключение такого рода: сделаться лучшим человеком по отцовскому рецепту очень тяжело и трудно.

Ссоры с братьями завязывались у Никитой чаще всего из-за еды, из-за куска пирога, из-за куска хлеба с луком, из-за лишней ложки прогорклых щей или кислого молока...

Вырос, наконец, Никитка, пережил всех братьев, которым посчастливилось умереть в скарлатине, отца он похоронил (матери он не помнил) – и зажил одиночкой, самостоятельно. Самостоятельность его на первых порах проявилась в женитьбе на дочери мелочного торговца,

на девке бойкой и красивой. Но жена, кроме детей, никакого благополучия не принесла с собой в дом столяра. Несправедливости заказчиков, систематические подкапывания своего брата бедняка и тому подобные, по словам Никиты, «мерзостные штуки» заставляли столяра обращать внимание на кабака, от чего дела, разумеется, не могли идти лучше. Нужда и горе, казалось, взялись быть неразлучными спутниками Никиты в жизни.

То он прятался от добрых людей, замуравливаясь в своем подземном жилище по целым неделям и месяцам... Слова, бывало, не проронит ни с кем, только хмурится. В такие тяжелые дни семья Никитина притихала: в каморке раздавался только стук молотка да визг пилы, по полу стружки разлетались, и молчание столяр перерывал только для того, чтобы кого-нибудь обругать. Тут уж и Андрюшка, сынишка-любимец, не забавлял Никиту; не находил отец утешения в ребяческих ласках, – да и ни в чем его не было для Никиты.

То напускал на себя столяр веселье, выпивая водки штоф за штофом, но пьянство, как всякое напускное веселье, оказывалось недействительным: веселье не веселило. В пьяном веселье, как и в горе, звучала для Никиты все одна и та же безысходно грустная нота, звучала беспрерывно, до боли надрывая сердце, туманя мысль. Никита трезвый хмурился и вздыхал; Никита под хмельком тоже хмурился, но вздыхал уже не исподтишка, но громко, всю грудью, – и чувствовал в те минуты непреодолимую потребность что-нибудь побить: детей своих, посуду, старую треногую скамейку или жену... Ничто не могло оттолкнуть Никиту от кабака, когда он хотел напиться: ни мысль о голодающей семье, ни спешность заказанной работы. Никакие самые мудрые, самые строгие законы не помешали бы Никите напиться в те минуты до бесчувствия, до забытья той горечи, что капля по капле осаждается во вся дни в жизни бедных: в те минуты он продал бы и свою семью, и самого себя, и все – никакая сила не вырвала бы у него из рук рокового стакана...

Двадцать лет живет столяр со своей Катериной Степановной и все еще не может решить вопроса: для коего лешего женился он?

– Дури-то в те поры, видно, много было! – рассуждал он не раз с самим собой. – Целоваться хотелось... Да и телом-то она, аспид, больно уж вышла...

Жена его, с своей стороны, также не могла удовлетворительно решить головоломного вопроса: зачем она замуж пошла... Также, должно полагать, по глупости больше, целоваться хотелось! И пошла она по той же дорожке, по которой шли все, пошла и спокаялась, как и все каялись в свою очередь; погоревала она задним числом, поругала себя всласть за то, что замуж сдуру пошла, связала себя веревкой крепкой по рукам и по ногам.

– То ли бы дело без Никиты! То ли дело без ребят-то! Сама себя прокормила бы, кланяться бы не надо – вольная птаха! Куда захотела – полетела, везде бы пристала, прокормилась бы... А теперь уж не вырвешься... Экий ад, прости господи!..

Так в часы досады и боли жаловалась Катерина Степановна на свою злую долю, проклинала свою непоправимую ошибку...

Теперь уж ей за сорок. Ее блестящие глаза потускли от дыма и чада, от слез и бессонных ночей; ее цветущее, веселое лицо сморщилось и пожелтело; не прежняя приветливая, а злая улыбка пробегает по ее сухим губам.

– Ноженьки и рученьки так разломило, что просто моченьки нет! – жаловалась она кумушкам-соседкам. – Вчера всю ноченьку промаялась, соснуть не могла... Под сердце подступает, и спину-то всю раскололо...

По совету кумушек-соседок ходила она к одной лекарке-ворожее, но чародейство не помогло; одна благочестивая старушка какой-то ленточкой от чудотворцев перевязывала ей болевшую руку, но и чудесная ленточка не помогла... Катерина Степановна на все чудесные и не чудесные «средства» махнула рукой.

Болезни, постоянная скудость во всем, несправедливости, нападки мужа и чужих людей, возня с семьей сделали-таки свое дело – Катерину Степановну, женщину некогда полную сил и

здоровья, женщину добродушную и спокойную, превратили в беспокойную, раздражительную старуху, не могшую без брани шага ступить. Как мать она была жестока; как жена – сварлива и зла... Не выбиралось из трехсот шестидесяти пяти дней ни одного такого благодатного дня, чтобы она не поругалась с мужем и не треснула бы чем-нибудь по голове хотя бы одного из своих ребят. С сухим, сморщенным лицом, с взъерошенными волосами, выбившимися из-под грязного, дырявого платка, вечно с жестким, ругательным словом на устах, – она могла бы показаться фурией тому из моих читателей, который не испытал на своей собственной шкуре, что значит: постоянно, изо дня в день недоедать, недопивать, дрожать от холода, переносить побои и брань. Не показалась бы она фурией тому, кто бы подсмотрел, как она раз о рождении обогрела перед печкой малютку-нищего, который совсем было зачоченел на трескучем морозе, славя под окнами Христа! Как она ласково гладила сиротку по головке, потчевала пирожком!.. Не показалась бы она также фурией и тому, кто бы увидел, как она защищала свою маленькую Настю от пьяного, разъяренного отца и принимала на себя побои, предназначенные дочери! Нельзя было бы назвать ее фурией, видя, как она, – сама усталая, измученная, – просиживала ночи напролет у постели своего больного мужа!..

Не фурией была Катерина Степановна, но женщиной, захлебнувшейся в горьких слезах, в слезах детей, в своих собственных слезах... Ее муж ругал, допекали давальцы, – она щипала ребят, таскала их за волосенки, ребятки в свою очередь вымещали свою злобу друг на друге, на кошках и собаках, – сильный терзал слабого, слабый ревел благим матом и жаловался тятке или мамке; являлись на сцену прутья, вой усиливался, после чего наступало минутное затишье: все бродило, надув губы, кошка пряталась под печку, пила визжала, за перегородкой ворчала Катерина Степановна, а там опять шло по-прежнему – и так с утра до ночи; ночью в жилище столяра стонали, охали, невнятно бранились и плакали спросонок... Справедливо называла адом свою жизнь Катерина Степановна...

Но между многими пороками и более или менее гнусными недостатками в Никитиной жене было одно золотое качество: Никитина жена работала, рук не покладая, ругалась и проклинала, не унывая, не падая духом. Глядя на нее, можно было удивляться, до чего вынослив, живуч человек, если даже и в дьявольски тяжелой жизни, подобной жизни Катерины Степановны, он не вовсе еще обращается в лютого зверя, но сохраняет в себе некоторые из тех качеств, которые делают поразительным сходство между ним, полузверем, и тобой, мой цивилизованный читатель. Катерина Степановна не принадлежала к категории обессиленных: она деятельно заправляла своим маленьким хозяйством, занималась прачечным ремеслом, ходила полы мыть; летом, когда бары-давальцы разъезжались по своим усадьбам, она нанималась на огороды.

Не сидела без дела и дочь ее, семнадцатилетняя Настя. Она вместе с матерью возилась с бельем и по целым часам мерзла зимой у проруби, полоща белье; в свободное же от стирки время она клеила гильзы и разносила их по домам; помогала матери обшивать семейство и даже нередко пилила с отцом и приготавливала брусья, выглаживая их стругом². Зато и жизнь уже успела положить свою жесткую лапу на ее молодое личико. Когда она, сидя под окном и склеивая гильзы или вертя мундштуки, подымала от работы свою белокурую хорошенькую головку, в глазах ее просвечивала тревога и какое-то неопределенное чувство беспокойства, а лицо выражало не то вопрос, не то недоумение, не то мольбу... Взглянувши на ее глаза, можно было подумать, что она или только что плакала, или хочет заплакать, – так уныло, тоскливо смотрели они... Но она молода, сердце ее еще не заскорузло, не съезжилось, как ежится на огне сухой лист. Она внимательно всматривалась в щегольские дамские наряды, с тайным, непонятным для нее удовольствием заглядывалась она на красивые лица встречавшихся ей на улице мужчин, – и девушка не понимала: как это мать могла запретить ей глазеть по сторонам.

² Струг – грубый строгальный инструмент.

– Иди, да не зевай у меня! Я тебе косу-то встреплю... Вишь ты, и ленточку повязала... – часто ворчала Катерина Степановна, отпуская дочь из дома для разноски гильз или по какой-нибудь иной надобности.

Не понимала Настя: за что ее мать встрепать хочет; отчего матери так не нравится ее голубая ленточка.

Для Катерины Степановны будущее уже представлялось просто грязной дорогой к кладбищу. Настя же еще надеялась, что туман рассеется и начнется для нее лучшая жизнь. Недаром в ее умных голубых глазах загорается огонь жизни, огонь любви и вспыхивают румянцем ее бледные щеки, когда завидит она в окно знакомого писаря. Настя многого еще ждет, на многое надеется... Как, например, приятно билось и замирало ее сердце, когда однажды светлым праздничным вечерком за воротами писарь попотчевал ее калеными орехами и шепнул ей какой-то подержанный комплимент! Как она, в другой раз, весело-лукаво смеялась, когда тот же писарь, идя по дырявым мосткам мимо их окон, загляделся на нее и едва не упал. Ах, если бы не было матери дома! Она непременно выскочила бы за ворота поболтать с ним... Время было еще не позднее; все гуляют, забавляются... Над городом еще горит заря, и на улице как днем светло... Но мать уже ворчит, что Настя все баклуши бьет, что надо мундштуки вставлять да нужно выкрахмалить несколько сорочек к завтрашнему дню...

«Работай да работай! Все только работай... Никакого тебе веселья нет... Люди праздничают, а ты крахмал заваривай!..» – жаловалась сама себе Настя и принималась заваривать крахмал, отгоняя от себя заманчивый образ, все мечты и желанья, которые одни только и могли бы скрасить жизнь для Насти.

Кроме Насти, под родительским кровом жил еще, как сказано, Андрюша, мальчишечка лет четырех, самый младший член Никитиной семьи. Светлокудрый Андрюша представлял собою существо до того незлобивое, до того кроткое, доброе и милое, существо до того ярко и резко выступавшее из всего окружающего, злого и грубого, что кумушки пророчествовали хором: «этот парнюга не жилец на белом свете».

– Такие ребятишки, матушка ты моя, николи не живут подолгу! – говорила старуха-нищая, жившая рядом с столяром. – Царствие их не здешнее: уж очень сердцем-то они кротки!..

Андрюша действительно до того был незлобив и кроток сердцем, что не таскал даже за хвост Машку, а Машку, должно заметить, таскало за хвост решительно все подраставшее Никитино поколение. До того Андрюша был ласков, что даже черствое сердце столяра, не доступное никаким вообще нежным чувствованиям, смягчалось, – и Никита щелкал Андрюшу менее прочих детей, игрывал даже с ним под веселый час; для Андрюши у Никиты находились и доброе слово привета, и ласка, и страшная сказка, и смешная прибаутка. Отец добродушно звал своего любимца «куморкой». В этом странно звучащем слове сказывались отцовская любовь и нежность...

– Андрюха! Ты меня любишь? – спрашивал, подвыпивши, столяр у сына, ползавшего у него в ногах.

– Юбью! – отвечивал сын. – А дай Дюхе сюжок... шло бойьше юбить стану.

Столяр ухмыляется, берет горсть стружек с своего станка и бросает их Андрюше.

– Ну, куморка! Покажи-ка теперь; как ты любишь тятку!.. – возглашал отец.

– Во как... во... – пищит сынишка и, обнявши ногу отца, жмет ее изо всех сил, кряхтит и кашляет...

– Ну, ладно! Умная ты у меня голова... – говорит Никита, и задумчивая улыбка пробегает по его губам, когда он смотрит на раскрасневшееся личико Андрюши.

– И ты голова... – шепчет Андрюша, забавляясь стружками.

Так благодушествуют отец с сыном, но не часто они благодушествуют...

Кроме «не жильца на белом свете», господь наделил Никиту еще двумя сыновьями, которые в начале моего рассказа жили уже «на местах» – и со стороны кумушек, в противонадежность Андрюшке, пользовались репутацией существ вполне земных.

Старший, Алешка, малый лет шестнадцати, был отдан сапожнику-куму в ученье. Кум-сапожник не раз, между прочим, принимался объяснять Алешке и сотоварищам его ту истину, что если они будут хороши, то и им будет хорошо. Положение в сущности немного сбивчивое, но сапожнику представлявшееся, очевидно, весьма ясным и удобопонятным. Сбивчивые правила отвлеченной философии нередко получали вещественную поддержку в образе кулака и розги... Из того, что сапожник ежедневно молился богу, крепко стучаясь об пол лбом, мальчишки увидали, что каждое утро и каждый вечер следует молиться богу, то есть стучаться перед образами об пол лбом; из того, что сапожник часто напивался допьяна, напившись, пел и шумел, – мальчишки вывели то заключение, что напиваться, должно быть, очень приятно, а нравоучения, по причине их сухости, пропускали мимо ушей... На Алешке, как и на его товарищах, подтвердилась еще раз избитая истина, гласящая: будто бы пример заразительнее всяких, самых красноречивых нравоучений даже и в таком случае, когда последние поддерживаются авторитетом палки или кулака. Алешка возлюбил водку; из-за нее он безбоязненно прокучивал хозяйский товар, инструменты, сапожные обноски и безбоязненно же шел за то под побои и затрещины. Порядочный молодец выходил из Алешки в школе кума-философа; недаром кумушки окрестили его прозвищем «отпетого» – прозвищем, от которого так уж и веяло острогом, кандалами, каторгой.

Младший брат, Степка, мальчуган лет девяти, служил на побегушках в мелочной лавочке дяди Сидора. Сидор Панкратьев, родной брат Катерины Степановны, слыл за человека глубоко нравственного, воздержного и пользовался уважением людей благомыслящих; на самом же деле дядя Сидор был только скуп, и только скупости своей он был обязан своею внешнею добропорядочностию и воздержностью. Он не прочь бы был и покутить и поразвратничать – на чужой счет, да втихомолку. Это просто был наглухо, ловко замаскированный плут и мошенник, человек практический – в самом гнусном значении этого слова... Дядя Сидор, как хозяин строгий, парнишкам воли не давал и так больно бил их аршином, что мальчишки его выглядели образцами кротости и смирения и обещали сделаться впоследствии прототипами своего славного хозяина, то есть такими же, как он, ползающими тварями, бессердечными ханжами и лицемерами.

Степка, как существо бессильное, немощное, весь – и телом и душой – отдался во власть железного аршина. Прикажи хозяин чернила слизать с листов прихода-расходной книги, – Степка слижет не поморщившись, даже и отплюнуться не посмеет. Закажи ему хозяин обмерить или обвесить какую-нибудь несмыслящую старушонку, покупающую соли на грош, да крупы копейки на три, или надуть ребенка, – Степка, не моргнув, побожится хоть десять раз, обмеряет, обвесит и надует так аккуратно, что и весьма зоркому глазу будет нелегко заметить его плутовской маневр. Снявши шапочку, с низкими поклонами проводит он обманутого покупателя, размахнет перед ним дверь настежь и умильным голосом закричит ему вслед: «Напредки-с милости просим...»

Степкина спина зато остается цела, а что Степке за дело до чужого кармана. Хоть все по миру пойди! Степке зато дают чаю, то есть сам Сидор Степанович подает ему чашку с мутной водицей, кусочек сахара, едва видимый невооруженным глазом, и говорит: «пей!» Степка поглядывает на сахар, прихлебывает грязную водицу, налитую из чайника, и наслаждается... Вприглядку же и без сухих крендельков он пьет чай потому, что сахар и крендельки он приберегает, а по праздникам делится ими с братом Алешкой, перед ухарством и силою которого преклоняется Степка-мозгляк. Хотя Алешка и подтрунивал иногда над братом, называя его «мямлей» и «бабой», но Степка не обижался и был себе на уме. Смехом отделялся он от

нападений Алешки и оставался в полной уверенности, что Алешка проще его, что он изворотливее Алешки...

Одинаковость положений сближала братьев: они оба были недовольны своею участью, оба были окружены врагами.

Алешка никого не боялся, Степка же боялся всех, кто был посильнее его. Оба же брата представляли из себя еще в зародыше двух типических представителей тех сил, враждебных обществу, без которых современное общество немислимо.

II

Стоны и скрежет зубовой

Купол и крест егорьевской церкви и высокий колокольный шпиль сияли в первых лучах восходящего солнца.

Красноватый утренний свет проникал через два маленькие оконца и в убогое жилище столяра. В тесном заднем отделении на низеньком старом столе Настя, засучив рукава, катала тесто; Андрюшка, сидя у окна, что-то жалобно мурлыкал себе под нос. Никита расположился на лавке в переднем отделении и старательно расчесывал роговым гребнем свои сполетившиеся волосы.

Наступал праздничный день...

Возвратилась с реки Катерина Степановна и, узнав, что парнишки еще не приходили, занялась просушкой белья. Алешка со Степкой по праздникам обыкновенно приходили домой.

– Блажной, прости господи, человек! – роптала вслух Степановна, ставя в печку утюг. – Рубашкам числа нет, – и чистые есть, верно знаю, что есть... А нет, вот подавай непременно эту! Уродится же такой человек: как заладит что, так и шабаш!..

– К обедне-то не пойдешь, что ли? – спросил Никита, кончив свой туалет.

– Какая тут обедня?! – взъелась на него жена и раздражительно принялась разбивать в печке головню.

Головня ворочалась по поду, искры сыпались...

Никита сердито ворчал. Он для праздника намазал ворванью свои высокие сапоги, заправил в них свои полосатые штаны, надел иззелена-черный, длиннополый кафтан и даже повязал галстук, повязывавшийся не каждый праздник; последнее обстоятельство обозначало, что для Никиты на этот раз с праздником соединялось еще нечто...

Когда на егорьевской колокольне за благовестили к ранней обедне, Никита взялся за шапку. В сенцах повстречался он с суевившейся Катериной Степановной и сказал:

– С Настасьей-то поговори уж... А я от обедни-то к Кривушиным пройду!

Пока Настя подметала березовым веником щелеватый пол, Степановна занялась глаженьем. Хмурилась она сильно и с сердцем поплеывала на горячий утюг: в ее душе подымалась непогода и должна была испортить для нее и для ее семьи праздничное утро. Разобидел ее упрямый давалец, немало также озабочивали ее и предстоявшие переговоры с Настасьей, о которых уже, уходя, намекнул ей муж и о сюжете которых он с ней держал совещание ни свет ни заря, когда детки еще крепко спали и на дворе было сумеречно. Андрюшка между тем, забившийся с палкой под стол, на котором одним краем лежала гладильная доска, вообразил себя кучером, палку – лошадью, а стол – каретником... Он заползал, завоzilся и, принявшись закладывать свою воображаемую лошадь, толкнул стол так сильно, что утюг, стоявший на обломке кирпича, дрогнул и шевельнулся... Катерина Степановна загорелась от гнева и досады: болезненный румянец выступил пятнами на ее исхудалых щеках, глаза блеснули из-под нахмуренных бровей.

– Что ты леший-то никуда не унесет! – злобно вскричала мать. – Ишь забился... Убирайся ты, дьяволенок! Так вот голову-то и прошибу...

Мать пнула под столом Андрюшку, – тот запищал; мать выхватила его оттуда за рукав и, притащив в сени, с остервенением толкнула на крыльцо. Андрюшка головой угодил прямо о порог. Пошатываясь, перелез он через порог и, усевшись на нижнюю ступеньку крыльца, уткнул в руки свою ушибленную голову и тяжело и горько заплакал.

– Чего воешь, Андрюшка? – осведомилась проходившая мимо старушка-нищенка. – Мать выстегала, что ли?..

– Гововку бойно... ой бойно, бойно!.. – всхлипывал ребенок, глотая слезы и прижимаясь правым виском к колену.

На виске вскочил синяк.

Подошла Арапка, виляя хвостом, и, ласкаясь, ткнула мордой Андрюху в бок. Андрюха посмотрел в слезливые глаза старой собаки и подумал: «Арапка плачет, Арапку водовоз, видно, тоже по головке бил...» Андрюша помнит, как раз сердитый водовоз бил собаку...

Арапка села и, положив свою морду на колени к ребенку, принялась умильно взглядывать на него. Взял мальчуган; собаку за ухо, потащил к себе и, запустив свою маленькую ручонку в ее густую взъерошенную шерсть, стал гладить, теребить – ласкать по-своему Арапку. Голодная Арапка ждала подачки, но, не дождавшись ничего, подняла вдруг морду и с ожесточением принялась лаять на ворону, усевшуюся на заборе. Ворона, очевидно, порывалась было опуститься на землю и пробраться к помойной яме, чтобы вытащить оттуда яичную скорлупку, заманчиво выглядывавшую, из грязи и сора. Испуганная хриплым лаем дворового пса, ворона закаркала и улетела в соседний сад, а собака, успокоенная ее отлетом, улеглась у Андрюши в ногах.

Никита в это время стоял уже в церкви и вместе с другими клал земные поклоны, вздыхая про себя потихоньку и набожно творя крестное знамение. Никита смотрел на образа, но не к богу неслись его помыслы. Они то возвращались к только что оставленной им семье, то уносились в барскую переднюю, в дом Кривушина. «Федор Гришин, – рассуждал столяр, – детина ражий, мастеровой человек – нашего поля ягода! Гульнуть хошь любит, да ведь это что! Кто из нашего брата этого не любит. Вестимо, как выпьешь, так и оживешь!.. А Насте он – пара...»

Вчера вечером, зашабавив, приходил к нему Федор и сделал предложение: больно, вишь, полюбила ему Настасья Никитишна. Давно уж он думал переговорить с Никитой Долгим об этой материи, да все не мог собраться; вчера под хмельком он, наконец, решил привести в исполнение свое давнишнее намерение, подвинуться хоть на шаг к осуществлению своей мечты... Хотя Настя-то к нему не очень льнула, да ни жених, ни отец не ждал отказа. «Чего еще ей надо! – успокоивал себя жених. – Будем не хуже других»...

Денежные расчеты стали занимать Никиту, и, вместо молитвы, он начал высчитывать рубли и копейки, которые ему уже давно оставался должен за мебель Кривушин. «Тридцать рублей... – припомнил Никита. – Так точно! Десять рублей он уплатил... тридцать рублей, значит, и осталось! Да за подзеркальники к туалету рубль с полтиной!.. Да!» Деньги Никите были очень нужны: отчасти для того, чтобы справить свадьбу дочери, отчасти для покупки материала. Чем сильнее копошились мысли в голове Никиты, тем сильнее он встряхивал головой, тем порывистее крестился и клал земные поклоны... Не хотелось Никите идти к господину Кривушину. А идти было необходимо – нужда толкала.

Стоял Никита в барской передней и мял в руках свою засаленную шапку.

– Да ведь чего же, сударь, еще ждать-то! И так ждали... больше года прошло... – говорил столяр, рассеянно поглядывая по сторонам. – А наше дело мастеровое... деньги нужны... И материалов купить, и на хлеб тоже нужно... Одним ведь воздухом не проживешь... Сами изволите знать...

– Хорошо ты, голубчик, стулья-то сделал! – заметил барин с недовольной, насмешливой миной.

Барин – мужчина довольно тучный, с лоснившимся лицом – пыхтел, как паровик, и брел часовой цепочкой. Своими маленькими маслянистыми глазками он поглядывал нетерпеливо-небрежно то на столяра, то на кончики своих лакированных сапог.

– Стулья-то твои почти уж все переломались... – начал было барин и не кончил...

– Сами вы принимать изволили! – перебил Никита с жаром.

– Да ты много-то не рассуждай у меня! – вскричал Кривушин, потрясая брелоками. – Убирайся! Пошел вон... – Барин повернулся и вышел из комнаты. Никита остался вдвоем с лакеем.

Столяра тоже сильно начала разбирать досада. Губы у него как-то судорожно передергивало. Воспоминание о страшном черном псе опять вдруг ожило и ярко восстало перед Никитой.

– Эх ты! Рассердил только барина-то у нас... – с неудовольствием говорил лакей, посматривая на рабочего. – И кой тебя чёрт дернул... А-ах, право...

– Да какой ты чудной, парень! – огрызнулся и на него Никита. – Деньги-то ведь нужны... Как же быть-то! Не пропадать же из-за того!..

– Ну, в другой раз пришел бы! Не беда! Ведь не за тридевять земель живем... – заметил лакей.

– Нам разгуливать-то некогда! – резко заметил Никита.

Лакей не удостоил его возражением и принялся напевать себе что-то сквозь зубы. Лакей был малый с испитым, опухшим лицом, в грязных воротничках и сюртуке. Он сидел на ларе, побалтывал ногами и глазел в окно. «Холуй, так холуй и есть!» – подумал рабочий, хмуро, с недовольством посматривая на лакея...

Дело кончилось тем, что Никиту, наконец, вытолкали из передней... Медленно спустился он с парадной лестницы и, выйдя на улицу, остановился, чтобы перевести дух. Страшен был в те минуты Никита: лицо его дышало злобой, ноздри раздувались, глаза горели кровожадным блеском. Никита казался еще страшнее оттого, что старался сдерживаться, не давал воли зажегшейся страсти. Он думал надеть на себя личину спокойствия в то время, как ад клокотал в его груди. От сознания бессилия перед врагом на мгновение навернулись слезы на его глазах, он смахнул их, сглотнул и заскрипел зубами...

Прямо через дорогу стоял покривившийся старенький домишко с огромною вывеской, разукрашенной изображением штофов, бутылок и стаканчиков, налитых до половины. Крупными красными буквами на той вывеске значилось: «Распивочно и на вынос». Никита ощупал несколько медных монет в своем кармане и перешел через дорогу...

Катерина Степановна в это время с воркотней приготавливала белье «блажному давалыцу», сухо встретила Степку и Алешку, обозвала их «санапалами» и все-таки накормила гороховиком, причем Алешке, как любимцу матери, достался кусок побольше. Напрасно прождав мужа к обеду, Степановна решила, что его опять, видно, в кабак занесло, и села с детьми за скудную трапезу. Катерина Степановна тупым ножом искромсала мясо и куски свалила в чашку щей.

– Щи-то сегодня что-то не больно наварны! – заметил Алешка, облизываясь и мешая в деревянной чашке похлебку. – И капуста-то серая какая... У нас так завсегда...

– Ну, ну, ты! – прикрикнула на него Катерина Степановна. – Ешь, коли дают! Серая капуста! Вишь ты... тоже! Рыло-то у ты серое... Вам, дьяволам, и того-то не надо давать... Чего вихор-то опустил? – взъелась мать на Степку, когда тот низко наклонился над чашкой.

– Таракан! – лаконично объяснил Степка, вытаскивая за усы из щей прусака и бросая его на пол.

– Ну, ладно! Не подавишься! – заметила мать, отплевываясь.

После щей явилась еще крынка пресного молока, кусок гороховика, и тем закончился обед.

Степка, ради забавы, привязал кошку к скамейке за хвост, за что мать стукнула Степку в горб, а кошку выбросила за шиворот в окно... Потом братья принялись с Андрюхой играть в прятки и, наконец, развозились до того, что Катерина Степановна совсем осерчала и прогнала их из дома вон... «Честные братаны» отправились бродить по городу с твердым намерением при случае побаловаться, а Катерина Степановна пошла разносить белье своим давальцам. Настя осталась одна с Андрюхой; братишка спал, а сестра думала горькую думу.

Мать объявила ей о желании Федора Гришина взять ее себе в жены. Гришин ей нисколько не нравился, – не лежало к нему Настино сердце...

– И думать не моги! – сказала ей мать. – Выходи, Настька, да и шабаш! И нам полегче будет, да и тебе-то... Чего еще ждать, прости господи...

А Настя между тем, вопреки материнскому запрещению, не могла перестать думать, не могла сразу, безропотно покориться необходимости бросить на ветер свои девические мечты и желанья, – выйти замуж за немилого... Грустно понурившись, сидела она под окном... Легко было матери сказать: «не моги думать!»

По мостовой, гремя и дребезжа, катились экипажи, шли гуляющие – разряженные дамы и кавалеры. Веселый говор, беззаботный смех праздной толпы, доносясь до Насти, еще пуще, еще болезненнее бередили ее раны. «Есть же вот люди, веселятся. Им хочется гулять, и гуляют!.. – раздумывала девушка. – Есть же люди, которым жить гораздо лучше, чем мне!.. Да что ж я-то за несчастная такая уродилась?..» Мягкий вечерний свет лился в комнату, праздничные звуки долетали до Насти; напротив в доме барышня играла на фортепиано и пела о любви, о каком-то счастье. Прозрачно-голубое, ласкающее небо, спокойное, тихое – раскидывалось над крышами домов, прохладой веяло из соседнего сада, пахло цветами за окном; ни свет, ни блистающее небо, ни праздничные звуки веселящейся толпы, ни сладкая песня о любви – не разгоняли будничного состояния ее духа, убитого горем. Да и где же им, этим светлым, праздничным звукам, этим песням о счастье ободрить и утешить ее, бедную, когда вся ее жизнь, все будущее в этот прекрасный, сияющий вечер становится на неверную карту. Заикнулась было Настя матери о писаре, – мать накинулась на нее.

– Что-о? Писарь? – заговорила она. – Он себе невесту-то почище сыщет, из приказных али из духовных возьмет али какую ни на есть купчиху подденет... Пустые слова только говорит твой писарь; побаловаться ему охота, вот что! А Федор Митрич – свой человек... Семь рублей с полтиной в месяц получает, не озорник.

Настя сидит у окна и горюет втихомолку, одна-одинехонька. Напрасно она вглядывается в передний угол, на образ, где в тени, едва видимо, бледнеет лик спасителя... Не снимается тяжесть с ее изболевшего сердца. «Хозяйка будешь! Муж если и поругает, так уж зато он – муж; другим в обиду, значит, не даст...» – думает Настя, и ей чудится, что она уже начинает думать не своей головой, а головою матери... Но вдруг – как назло – мимо окошка проходит писарь, снимает шапку, кланяется и покручивает свои черные усики...

– Все ли в добром здоровье, Настасья Никитишна? Каково поживаете, нас не позабываете ли? – спрашивает он, приостанавливаясь у тротуарной тумбы и подбочениваясь.

Густой румянец разлился по бледным щекам девушки, глазки загорелись; но ни пылавших щек, ни глаз, искрившихся любовью, писарь не мог подглядеть в вечернем сумраке, а то бы страшно всполошились его животные инстинкты... Смутные, неясные желанья волновали Настю, и нестерпимо ей показалось приносить себя в жертву рублям и копейкам Федора Митрича, и захотелось ей хоть раз в жизни, хоть одну, одну минуту любить и забыться в любви, отпраздновать свою молодость... Грудь ее высоко подымалась, слово мольбы и призыва готово было сорваться с ее полураскрытых губ... В это время пьяный отец постучался в дверь, обругав «косопалым чертом» Арапку... Писарь скрылся... Вот скоро мать придет, затеется ссора, – и уж тут хоть святых вон неси!..

Скоро действительно возвратилась и Катерина Степановна от кумушки, к которой заходила на перекуток чайку напиться да покалякать о городских новостях, о похоронах, свадьбах, о семейной и общественной жизни обитателей Болотинска. Пришла она сильно раздосадованною на свои неудачи: помощник столоначальника казенной палаты³ за белье денег не отдал шести гривен, пьянчужка проклятый! А «блажной давалец» хоть и отдал, по обыкновению, деньги все сполна, до копеечки, но заметил на манишке какое-то крохотное пятнышко и всячески обругал за него Степановну.

³ Казенная палата – губернское учреждение, заведовавшее денежными сборами.

– Седьмой год стираю на окаянного, хоть бы когда-нибудь на чай подарил на полтора золотника!⁴ – говорила она брюзгливо. – Вот, мол, тебе, Степановна, за радение! Хоть бы на смех! Так нет!.. Только ругани и дождешься.

Мать была сердита, а отец еще того сердитее. Степановна попрекнула мужа кабаком, а тот, не позабывши своего утреннего визита к Кривушину, проклял жену всевозможными проклятиями, причем так стукнул кулаком о стол, что хлебная чашка слетела с полки и попала ему в голову... Гнев родительский на этот раз отозвался всего печальнее на Насте... Поугомонившись немного, Никита повел с женой тихие речи.

– Ну что? – спрашивал хмельной отец, мотая головой по тому направлению, где за перегородкой, пригорюнившись, сидела Настя.

– Да что! Мало ли она чего городит, не слушать же стать! – с сердцем отозвалась Степановна.

Никита промычал что-то себе под нос и почесал за ухом...

– Настыка! – вдруг возгласил он мрачно. – Я тебя Федору буду пропивать! Слышь?

– Я мамке говорила, что не пойду за Федьку... – надорванным голосом ответила Настя из-за перегородки.

– Чего-о-о? Не пойдешь? – протянул отец, как бы удивляясь смелости дочери. – Да кой леший у тебя спрашиваться-то станет, пошлют, так пойдешь! Венца-то небойсь скинуть не дадут... Скрутим!.. – тут столяр употребил свое обычное ласкательное слово. – У меня и без тебя один дармоед есть... – продолжал Никита, тыча пальцем в сторону полатей, где спал Андрюша. – На даровой-то хлеб вы все охочи... черт бы вас побрал!..

– Не без дела сию! – с горечью отозвалась дочь...

– Востра, matka! Вижу, что востра... – саркастически возразил столяр. – Гм! «не без дела сию!» Вишь ты!..

– Не пойду, не пойду! – вполголоса повторяла Настя, чувствуя, что говорит сущий вздор, что пойдет она замуж за Федьку...

Долго толковали родители, то ссорились, то мирились, но разговор мало-помалу стал принимать тон все более и более ласковый.

– Ты возьми в толк вот что! – внушительно говорил: Никита. – Другой-то скоро ли еще подвернется, дожидайся еще... а Федор по крайности человек известный, не беспутный какой, никаких худых делов за ним не водится, – парнюга изрядный и из себя ничего... Палашка али Анютка, поди, выскочили бы за него с радостью...

Чем тише начинал говорить отец, чем мягче и ласковее становились материнские речи, тем яснее сознавала Настя, что ее твердое решение: не выходить замуж за Гришина, – колеблется все сильнее. Под конец уж она ничего не возражала, но молча, словно к смерти приговоренная, сидела, сложив руки на коленях. Слезы текли по лицу, падали на скрещенные руки... Заплакала и Степановна... Скрепя сердце, не веря себе ни на волос, толковала мать дочери о том, что авось все перемелется, мука будет... Поживет – слюбится...

Никита тоже хмурился, пока не пришел Федор. Тут они ударили по рукам и, как водится, пошли в трактир «Саратов» пропивать Настю. В то время как Настя плакала и плакала, жених ее потчевал своего будущего тестя, тесть пил и ругал своего будущего зятюшку за то, что тот плут и мошенник...

Город спал мертвым сном, только кое-где лаяли собаки, месяца уже не было видно, когда Никита, сильно охмелев, вышел из трактира, где пропил Федьке свою дочь. В то время как он проходил мимо кривушинского дома, словно какое-то темное облако застлало от него все окружающее, всю действительность, только утренняя сцена в барской передней, образы барина

⁴ Золотник – мера веса, ок. 4,25 г.

и лакея живо и ясно рисовались в его воображении на черном фоне злобы, тоски, ожесточения...

Тихо было вокруг. Даже было слышно, как лист в саду шелестил... Слышно было, как где-то далеко сторож в доску бил... Была полночь... Никита наклонился, поднял с мостовой булыжник и с силою запустил им в стену кривушинского дома...

Вдруг ему послышалось, будто кто-то крикнул: «держи его!» Со всех ног бросился столяр бежать: ужас напал на него, хмель мигом вышибло из головы. Несясь по улице, он было чуть с ног не сшиб одного приличного господина, вообразив себе, что тот хочет задержать его. Бежал Никита сломя голову, пробежал площадь, пробежал мимо старинного собора, пробежал в его тени на мост... Ему уж чудилось, что за ним по пятам бегут полицейские, догоняют его, хотят схватить и утащить в часть... Запыхавшись, вбежал Никита на низенькое крылечко своей квартиры, пошатываясь, кое-как добрал он до лавки; помутившимися от страха глазами посмотрел за перегородку, откуда свет светил, но тут уж силы, долго напряженные, оставили столяра, и он без памяти повалился на лавку. Через минуту он тяжело храпел...

За перегородкой долго за полночь горел ночник. Степановна, просыпаясь, несколько раз приказывала Настьке гасить огонь, но Настька, не слушая ее, сидела, прижавшись к столу и положив голову на руки... Не думала она огонь тушить: то безумные, грешные помыслы заполнили ей в душу, как незваные, назойливые гости; то приступала к ней мысль о покорности...

«Убежать? – спрашивала сама себя Настя, ломая руки и крепко-крепко стискивая голову, словно надеясь выжать из нее ответ. – Куда? Где устроиться? Где будет лучше?..»

Только в сказках сказывается, слышала Настя, что есть на свете стороны – такие чудные, где реки текут молоком и медом, а берега у тех рек кисельные... Там «как агнцы, кротки человеки», там поет жар-птица, там люди находят живую и мертвую водицу, там Иван-царевич спасает бедных девок... Настю же некому спасти!..

«В самом деле, не сделать ли уж так, как отец с матерью говорят?!..»

Сожаление о рано схораниваемой девичьей волюшке выжимало у нее слезы на глаза; но большее сожаления о потерянной молодости терзало ей сердце сознание своей неспособности, своего бессилия перед злою долею...

Ночник на рассвете догорел и погас... Думы Настины, поднявшие было такую сильную рябь на спокойной поверхности ее маленького мирка, стали обессилевать, утихать... Когда же первые лучи весеннего солнышка осветили жилье столяра, когда они ударились в закоптелую печную заслонку и в почернелый потолок, – тогда Насте уже стало казаться вполне естественным, если она отправится в церковь с противным Федором и обойдет с ним трижды вокруг налож.

III

Два венца... терновые

Катерина Степановна жалела Настю и выдавала ее замуж не по одному только расчету: избавиться от лишнего рта. Мать знала, что, избавляясь от лишнего рта, она в то же время лишалась двух здоровых, крепких рук: ведь Настя действительно не сложа руки сидела. Она помогала матери в стирке, помогала в хозяйстве и еще сверх того специально занималась клеением гильз. Сначала Настя продавала гильзы по две с половиной копейки сотню в мелочную лавочку добродетельному дяде Сидору; потом разносила она их по домам по три копейки сотню, затем уже ей как-то посчастливилось гильзы поставлять в магазин по две копейки сотню из готового материала. Занимаясь только гильзами, Настя могла бы сделать в день сот до осьми; но с обрядом и ходьбой туда и сюда выходило обыкновенно не более пяти сот. Средним же числом Настя успевала сработать в месяц тысяч восемнадцать, следовательно, получала около трех рублей с полтиной в месяц. Так Настя, значит, работала и приносила в общую сокровищницу свою лепту... Но от делания гильз у Насти ныла грудь, спина болела... Катерина Степановна, как женщина далеко не глупая, все это знала очень хорошо, жалела свою дочь сильнее и искреннее иной чадолюбивой «тапан» и потому не могла видеть для Насти особенного благополучия в том, если она засидится в девках и станет пробавляться подобною работой.

– От этих делов не будешь богата, а будешь только горбата! – говаривала не раз Катерина Степановна.

В замужестве для Насти мать особенного благополучия не чаяла, по выдавала ее просто потому, что лучшей участи для дочери никак не могла придумать. «Хошь достаточек будет да обеспечение какое ни на есть... Все-таки свой угол...» – думала она, снаряжая дочь к венцу, Никита же знал только одно, что долго ли, коротко ли, рано или поздно, а Настю все-таки придется в церковь гнать...

Настя же сильно тосковала, не внимая ни внушительным доводам, ни строгим уговорам отца, ни слезливым увещаниям матери. Настя уже не молила никого, не молилась никому, ни на что не жаловалась... Писарь знал об ее горе и не шел спасать ее, даже наведаться об ней не пришел ни разу вечером к воротам, как, бывало, прежде...

Да любил ли ее, полно, писарь-усач? Не поиграть ли, в самом деле, только хотелось ему с бедной девкой? Не права ли мать была, обзывая его «шерамыжником» и «пустомелей»?.. И припомнилось с чего-то Насте, как однажды красивый писарь читал ей какой-то старый, рваный песенник без начала и конца, От серых, засушенных листков которого сильно припахивало казармами, махоркой и гнилью. Писарь читал:

Нет! не на радость, друг милый,
Новые дни к нам придут;
Верно, не здесь – за могилой
Радости наши цветут...

С большим чувством, по-своему, прочел тогда писарь эти четыре жалобные строчки. «Да, – думалось теперь невольно девушке, – видно, не здесь зацветут мои радости!...» Верно угадала Катерина Степановна характер писаря, называя его «шерамыжником»; не менее верно угадала она и характер его ухаживанья за Настей: писарь действительно олицетворял собою одну пошлость.

Дослужившись до нашивок и сгибаясь перед офицерством; он шибко задирал нос перед низшими. Он, вышедший из мужицкой среды, ругал деревенских людей «вислоухими мужа-

нами» и при случае не прочь был потрепать за бороду какого-нибудь смиренного, забитого «дядю Пахома».

Писарь-выскочка жениться действительно подумывал на купчихе-вдове, а в Насте он просто видел цветочек, который можно было сорвать; а затем, повертевши в руках, забросить подальше, с глаз долой...

Так, или почти так, начинала думать и Настя, припоминая серые хитрые глазки усатого писаря, покрывавшиеся маслянистою влагой в те минуты, как писарь играл и ласкал Настю. А все-таки, вопреки рассудку, он был ей милее грубого, неприглядного Федьки... И не для вида, не во исполнение старого обычая плакала Настя, когда подружки водили ее в баню и расплетали ее длинную косынку; искренни были слезы Насти, когда раздавались над нею заунывные песенки подружек. По ее осунувшемуся личику, да и по заплаканным глазам, можно было догадаться, что не с радостью собиралась девушка под венец. Но она держала себя, как и всегда, так тихо, так спокойно, что можно было подумать, будто в ее душе спокойствие царствует, будто под безмятежной оболочкой все тишь, да гладь; да божья благодать.

Под одною же кровлей с Настей страдало другое живое существо, страдало так же искренно и от души, как и Настя. Хозяйская работница давно и страстно была влюблена в Федора Гришина, но не могла добиться взаимности и изнывала от своих напрасных желаний. Женитьба Федора окончательно подрезывала крылышки ее игривым мечтам и болезненно отдавалась в ее пылком сердце... Не так смиренно, не так покорно, как Настя, склоняла свою голову Пелагея. Моя хозяйскую кадушку из-под капусты, Палаша с ненавистью прислушивалась в сенях к доносившемуся до нее пенью снизу, из квартиры столяра. Злость и бессильная ревность ее разбирали до истерического смеха, до слез... Как она лихорадочно, принужденно-весело смеялась над старушонкой, когда на ту напустилась во дворе собака и рвала ей подол! Старушонка визжала, отмахивалась клюкой от сердитого пса и, запнувшись, повалилась на груды кирпичей... А Палаша, забросив на плечо грязную тряпицу и прислонив кадушку к стене, смеялась и смеялась, стоя у окна... С попадьей-хозяйкой она поругалась за обедом из-за щей... Перетирая после обеда посуду, Палаша так; ловко стукнула миской об стол, что миска разлетелась вдребезги. Попадья излила на работницу целый поток упреков и нравоучений, а в заключение пообещала вычесть из двухрублевого Палашиного жалованья цену разбитой миски.

– Вычитайте хоть все! Берите! Мне что!.. Обижайте, обижайте! Наживайтесь сиротскими денежками... Мне что! Давайте расчет, да вот и все... Меня к Кукушкиным давно зовут... Уйду, да и кончено!.. – с жаром огрызалась Палаша. – «Вычту, вычту!», – передразнивала она попадью, увернувшуюся на ту пору за дверь. – Ишь ты! Вычитать-то больно охоча...

Раскраснелась Палаша, с остервенением вытирая кухонный стол, и ругала попадью и поповну-стрекозу; но злоба ее относилась не к столу и не к хозяевам, но к Федору и к невесте его – Настеньке, «подлой лицемерке». «Ничего и не скажет, молчит себе, ровно не ее и замуж выдают! – мысленно ругалась Палаша... – Отобью, боишься, что ли? Храни, храни свое золото...» – смеялась она, но очень дурной выходил у нее смех... Не смогла Палаша устоять от искушения – сошла-таки вечером вниз посмотреть на жениха с невестой...

– Сердечушко-то, Палаша, больно у меня тоскует! Так-то уж тоскует, что просто терпенье не стало! – говорила шепотом своей подруге невеста, утирая глаза. – Палаша ты моя милая, что же делать-то мне?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.